ЛБ66 586

1566586

Д. Сулиашвили

УЧЕНИЧЕСКИЕ ГОДЫ

407

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ЗАРЯ ВОСТОКА"

1566586

Д. СУЛИАШВИЛИ

УЧЕНИЧЕСКИЕ ГОДЫ

Перевод с грузинского
В. Джапаридзе

407

Издательство „Заря Востока"
Тбилиси — 1942 г.

933151

ШКОЛА

Кажется, будто все это было вчера, — отец крепко сжимает мои детские пальцы, и я, повиснув на его руке, торопливо следую за ним, путаясь в полах его чохи, раздуваемой ветром. Все ускоряю шаг, чтобы поспевать за отцом.

Мы только что сошли с поезда, миновали высокий, длинный мост и теперь шагаем по середине улицы.

— Вот, сынок, и твоя школа. В ее стены и я вложил свои денежки! — сказал отец, указывая на двухэтажное здание. Но мой взор больше приковывают румяные персики, уложенные на гоби[1] в лавке с навесом.

Я обвел глазами высокое здание, надеясь воочию увидеть замурованные в его стены деньги. Но, кроме кирпичей и блестевших оконных стекол, ничего не заметил.

Отец мой был причетником. Он действительно принимал кое-какое участие в постройке духовной школы и очень гордился этим.

Я спешил за отцом.

Меня мало занимали бесцветные низкие домики и отдаленный шум на дремлющей улице. Под низенькими навесами сидели хозяева лавок; свесив головы на грудь, они дремали. Бакалейщик, отгоняя зеленой веткой мух от корзин с фруктами, перетирал фарту-

[1] Деревянное блюдо для фруктов.

ком яблоки и персики, покрикивал: «Вот персики! Кому персики!»

Изредка по пыльной мостовой с грохотом проносился экипаж. Он будил дремлющих; потом шум постепенно стихал и, наконец, замирал совсем где-то в узком переулке.

Мне вспомнились мои товарищи по селу. Сейчас они, должно быть, собрались перед нашим двором и играют в «црелахти»[1]. Гигла, конечно, суетится, не дает Дата выхватить пояс, шумит, задирается. Васико обходит круг, вытаскивает оттуда пояс и хлещет им товарищей по ногам...

— Персики хидиставские! Персики! Две копейки фунт! — кричит лавочник, нарушая тишину улицы и отрывая меня от воспоминаний.

Я спешу... Подымаю голову — и вижу на гордо высящейся скале зубчатую стену башни. Словно застывшая волна, гордо глядит она на рассыпавшиеся внизу приземистые домишки. Тропинки, извиваясь тонкой лентой, спускаются с горы и теряются в отдаленных двориках.

Я прошу отца провести меня туда, на гору.

— Нет, сынок, сейчас не время заниматься этим! Тебе надо поступить в школу! Успеешь еще побывать на горе.

У отца мозолистые руки. Я стараюсь высвободить свои пальцы из его руки. Наконец, это мне удается. Забегаю вперед и начинаю кидать камешки в канаву, протекающую вдоль улицы.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

На второй день отец повел меня в школу. Мы вошли в наполненный детским шумом и гамом длинный коридор. Отец разыскал смотрителя и вручил ему заявление.

---

[1] Игра с поясами.

Через некоторое время учитель взял меня за руку, и я, не отставая от него, живо пробежал весь длинный коридор...

Я был принят в первое отделение. В комнате, в которую меня ввели, я увидел таких же, как я, мальчуганов, которые шныряли около низеньких парт, шумели, прыгали...

Остолбенев от удивления, я глядел на их шалости. Ко мне подбежал один большеголовый мальчик и, усадив меня за парту, сказал:

— Давай, сядем с тобой вот здесь!

Потом спросил, как меня звать, как моя фамилия, назвал себя и, показав мне книгу, спросил:

— У тебя есть такая?

«Деда-эна» у меня была, но не здесь, и мне стало досадно, что я не захватил ее с собой.

Вдруг шум умолк. В класс вошел учитель. Один из учеников прочел молитву. Бородатый учитель положил на стол классный журнал, вынул из кармана пенсне и, раскрыв журнал, стал громко читать наши фамилии.

Каждого из нас он вызывал, спрашивал, кто и откуда мы, чьи дети, как мы провели лето.

Меня привлекло его лицо с широким морщинистым лбом, русыми усами и начинающей седеть бородой. Мне представлялось, что каждый учитель всегда сердит и чем-то недоволен. А этот был приветлив, располагал к себе, относился к нам действительно с отеческой заботливостью. Прохаживаясь между рядами парт, гладил нас по голове. Когда он шагал, то его брюки, сморщившиеся, как голенищи сапог, то совсем прикрывали его ботинки, то обнажали лодыжки.

Раздался звонок. Наш учитель Деисадзе закрыл журнал и вышел из класса. Мы тотчас же высыпали в коридор. Мои глаза напрасно искали отца, — его уже здесь не было. Я кинулся к выходным дверям, но меня не пустили. Прислонившись к стене, я дал волю навернувшимся слезам.

Большеголовый товарищ подошел ко мне и спро-

сил, почему я плачу. Не получив ответа, он взял меня за руку и потащил играть во двор.

Опять раздался звонок, и опять мы собрались в классе. Когда же кончились занятия, у выходных дверей я нашел отца. Увидев меня с товарищами, он очень обрадовался...

В тот день отец еще не решил, где я буду жить, а потому мы с соседом священником пошли ночевать в духан.

«ЧАНАХА»

Мы вошли в духан. У расставленных вдоль стен деревянных столов, пропитанных салом, сидели такие же приезжие, как и мы, и закусывали. Низкорослый духанщик поминутно подбегал то к одному, то к другому столу с влажным кувшином вина. Когда же он заходил за стойку, то оттуда виднелась только его лысая макушка. Он откупоривал бутылки, суетился, радушно встречал новых посетителей, клал на тарелки ножи и вилки, поторапливал подручного мальчугана.

Священники степенно входили в своих широких рясах; за ними следовали их причетники в долгополых чохах.

— Здравствуй, Чанаха!

— Чанахе мое благословенье!

— Долгие дни Чанахе!—приветствовали священники духанщика.

— Как живешь, Чанаха? Как дела? — спрашивали причетники.

Чанаха, улыбаясь, кивал головой, кланялся, перекидывал салфетку за плечо и, потирая руки, приглашал духовенство в соседнюю комнату.

Он и в самом деле походил на чанахи [1],—круглый, толстенький, низкий. Как чикори,[2] выкатывался он из-за стойки, — толстый, коротконогий.

---

[1] Мера сыпучих тел.

[2] Чикори — круглый камешек для игры.

На брюхе его красовался серебряный пояс. Одет он был в короткий черный сатиновый архалук. Такого же цвета были у него шаровары, заправленные в сапоги. На носу, очень смахивавшем на картошку, красовалась круглая бородавка.

«Чанахой» духанщика прозвали священники, должно быть, в память о том чанахи, которым они собирали мзду с крестьян.

— Пожалуйте в вашу комнату, святой отец, для вас здесь все готово, — встретил нас Чанаха, когда мы вошли в духан.

— Молодец, Чанаха, молодец! Правильно поступаешь, — похваливали его духовники.

Для приезжих, для почетных гостей, особенно для духовенства, у Чанаха имелась про запас укромная комната. Здесь иной раз можно было и попировать втихомолку, и переночевать на широких тахтах.

— Ну-ка, подай нам что-нибудь на закусочку, да повкусней!

— Кому же, как не вам, подать повкусней,—отвечал Чанаха.

— Каурма есть?

— Есть.

— А чанах[1]?

— Ну, как же это можно, чтоб у Чанахи да не было чанаха!—балагурили причетники.

— А вино атенское?

— Какое пожелаете, и атенское, и хидиставское.

И Чанаха суетился. Накрывал длинный стол, нарезал хлеб, выставлял зелень, сыр, помидоры, цоцхали[2], расставлял стаканы, подавал кувшины с вином, звенел ножами и вилками, придвигал стулья.

— Садитесь, святые отцы, стол накрыт, — приглашал он именитых гостей.

И тогда все мешалось —стулья и рясы. Начинали усаживаться.

— Отец Иосиф, пожалуйте!

---

[1] Кушанье из баранины.

[2] Свежая рыба.

— Нет, отец Дмитрий, садитесь сначала вы!
— Отец Ило, сюда пожалуйте!
— Не беспокойтесь, садитесь сами!
— Да садитесь же, прошу вас!

И отцы-духовники занимали места за столом по рангам и возрасту. Причетников сажали в конце стола. Затем снова все вставали. Старший причетник читал «Отче наш», протоиерей благословлял стол, все крестились, потом прятали нагрудные кресты и с довольными лицами принимались за трапезу.

Чанаха только успевал подносить каурму, чанах, бозбаш, шашлыки и лоснившиеся от влаги кувшины с вином.

Святые отцы скидывали с себя рясы, причетники засучивали рукава чохи и глотали вино чайными стаканами. Затем, вылизав из миски сало, наполняли ее вином и передавали друг другу.

— Ой-да-мраваал-жамиееер!..—затягивали хмельными голосами развеселившиеся гости.

Мы, дети, начинали дремать, и так, под пение, один за другим засыпали. Тут же, на просторных тахтах, лежали мутаки, а на ночь Чанаха приносил еще откуда-то узкие длинные тюфяки и пестрые одеяла. Тогда мы уже раздевались и располагались на ночевку как следует. Но пение и шум часто будили нас; переворачиваясь с одного бока на другой, щурясь от бледного света лампы, мы различали лишь патлатые головы попов, окутанных папиросным дымом.

Утром мы, ребята, просыпались рано. И первое, что бросалось нам в глаза, это—засаленные, неубранные столы, лужи пролитого вина, огрызки хлеба, обглоданные кости, грязные тарелки, опрокинутые стаканы.

На тахте, где возлежали наши отцы, среди мутак виднелись головы с растрепанными волосами. Толстые, засаленные губы, обросшие всклокоченными усами, издавали глухой храп, словно кузнечные меха. Сапоги и грязные носки валялись в одной куче.

...Нам пора было итти в школу. Отыскав своего отца, закутавшегося в чоху и завалившегося где-то в

конце тахты, я разбудил его. Он моментально вскочил, собрался и пошел со мной.

На следующий день отец устроил меня на квартиру, а сам возвратился в деревню.

«ДЕДА-ЭНА»

Моя хозяйка сразу же взяла меня в руки,—не разрешала мне без дела выбегать во двор и, вообще, установила новые, совсем непривычные для меня правила.

Я сидел в комнате и, заливаясь слезами, поглядывал в окно. Вдоль широкой улицы (единственной в то время большой улицы в Гори) тянулась узенькая канава. В ней плавали утки. Проходившие мальчуганы закидывали их камешками. Тогда утки выбирались из канавы и, распустив крылья, неслись по пыльной улице, оставляя за собой мокрый след. Затем они снова устремлялись к канаве и ныряли в воду.

Редко когда на улице появлялся экипаж. Обычно он весь утопал в пыли, которая столбом следовала за ним. За экипажем почти всегда гнался какой-нибудь мальчуган, старавшийся уцепиться за заднюю ось и тоже тонувший в облаках пыли. Тяжело поскрипывая, медленно двигалась арба, груженная осенними дарами. В прикрытых пожелтевшими виноградными листьями корзинах румянились наливные яблоки и золотистые персики. На козлах, украшенных пышными гроздьями янтарного «акидо»[1], восседал арбощик с длинным бичом в руках и погонял волов, запряженных пара за парой.

Передо мною проходила сытая осень с ее ароматами, красками, изобильем.

Против нашего дома, через улицу, стоял низенький домик. Маленькие окна в белой стене походили на незакрытые глаза покойника, а покрытая досками высокая крыша напоминала крышку гроба.

---

[1] Срезанная виноградная лоза с несколькими гроздьями.

Тишина не нарушалась ничем...

Улицу украшали две-три бакалейных лавченки и один книжный и канцелярский магазин Арсена Калантадзе. Перед началом занятий радостнее всего было побывать в этом магазине. Увлекала нас закупка новых учебников и тетрадей, цветных карандашей, переводных картинок.

С большим удовлетворением я клал в сумку «Деда-эна» Якова Гогебашвили, в розовом переплете, «Бунебис-кари»—в белом и «Русское слово»—в сером.

Открывал «Деда-эна»... Что за рассказы! Какие сказки, загадки, картинки!

«Ой, птенчики, певунчики,
Где летали, что видали,
Не встречали-ль мою мать?»

—спрашивал я про свою мать щебечущих птичек.

«Твою мать? Как же, видели!
В саду она сидела,
Собирала красные яблочки,
Чтоб послать своему сыночку»,

— как-бы мне отвечали птички, и я, веселый и довольный, бежал в школу.

Издали иногда доносились гудки паровоза. По утрам клочья белого тумана, словно лечаки,[1] трепетали на кустах горидзварских склонов. С грохотом проносилась по железнодорожному полотну вереница нефтяных цистерн и исчезала за косогором. По плещущим волнам Куры, покачиваясь, шли плоты. Скользнув под мост, они торопливо уходили вниз из пребывавшего в дремоте Гори. И разве только бурливая, пенистая Лиахва оживляла своим шумом прибрежные улицы города. В летние дни мы грудью рассекали ее волны, переправляясь на другой берег, и здесь подолгу валялись на горячем песке, грелись под солнцем, а затем снова окунались в прохладные волны.

---

[1] Женский головной убор из легкой, белой ткани.

ИГРА В «КОЧИ»[1]

После окончания уроков тихие улицы Гори на некоторое время оживлялись веселым шумом школьников. Мы неслись по тротуару с сумками за плечами, обгоняли один другого, перепрыгивали, точно козлята, друг через друга.

С первых дней весны мы начинали игру в «кочи». Для этого мы собирались где-нибудь под стеной, на удобном, гладком месте. Книги заправляли за пояс, или же складывали тут же, у стены. Наши карманы наполнялись в те дни отшлифованными, залитыми свинцом и выкрашенными в красную краску костяшками. Красная коча ценилась у нас в три копейки, залитая свинцом—дороже копеек на пять. Если коча «садилась» на «алчу», она выигрывала. Счастливому владельцу такой кочи говорили: «Да, тебе хорошо, у тебя все время на алчу садится»...

Игрой в кочи мы так увлекались, что забывали все на свете. Ссорились, бранились и зачастую заканчивали игру дракой.

Подбрасывавший кочу обычно приговаривал: «Алчу, коча, шени чириме!» И если коча садилась на «алчу», то это значило, что выигрыш приходил сразу.

Проигравший начинал тогда спорить:

— Да, твоя коча подточенная, поэтому все время и садится на «алчу». Так я не хочу играть, возьми другую...

— Если так, то свинцовой тоже не полагается играть,— отвечали ему.

— Хорошо, пусть не полагается. Будем играть простыми.

За подбрасываемой кочей все следили с напряженным вниманием.

Проигравшие выкупали кочи у выигравших...

Играть в кочи в школе нам запрещали, поэтому мы часто уходили на гору, в крепость.

Здесь, на зеленом лугу, среди крепостных разва-

[1] Кочи — кости (бабки).

лин, мы чувствовали себя великолепно. Когда нам надоедали кочи, мы затевали борьбу.

Сюда приходили и ученики городского училища. Два борца, один от нашей, другой от их школы, вступали в состязание.

Круг вокруг борцов замыкался.

Одни лежали на траве, другие приседали на корточки... Каждая из сторон подзадаривала своего представителя:

— А ну, Гола, держись!—раздавались голоса.

— Бросай его, Дата, через бедро, через бедро!— подсказывали второму.

— Три-на-на-на... затягивал кто-нибудь, подлаживаясь под зурну. Борцы хватали друг друга за шеи, рвали блузы... Сползали с блуз пояса, падали брюки, оголялись животы.

Некоторые из зрителей в пылу азарта забегали в круг, подбадривали борцов.

Вцепившись друг в друга, борцы лезли из кожи, старались подставить один другому ногу, внезапно опускались на колени, чтобы перебросить противника через плечо.

Зрители, толкаясь, подбегали к борцам, окружали их, шумели.

Борьба заканчивалась перебранкой, иногда общей свалкой. Обе стороны хвастались победой своего любимца, никто не признавал себя побежденным.

— Ведь он перебросил его через себя, положил на землю!

— Ну, и что ж из этого? Раз сразу вскочил, значит не положил!

— И не на спину положил!..

Перебраниваясь, мы спускались с горы и расходились по домам.

На вершине Гориджвари догорали последние лучи солнца. Улицы погружались в темноту.

СОСО

Мы, малыши, искренно тяготели к знакомству и к дружбе с теми из учеников старших классов, которые выделялись из общей массы какими-либо заметными качествами — своими способностями, хорошей учебой, удальством.

Такому ученику мы все старались подражать. Если он превосходил всех в чехарде, прелахти, в борьбе, в игре в мяч, в других играх, а также пользовался любовью преподавателей за отличную учебу, то наше уважение и восхищение таким учеником не имели предела.

Мы всячески старались с ним сдружиться, заручиться его вниманием.

В нашей школе в то время особенно выделялся своими способностями, удалью и успехами в учебе Сосо Джугашвили.

О нем все мы знали, что он был первым учеником, и хотя происходил не из духовной семьи, тем не менее получал от школы за свои успехи ежемесячно по пять рублей пособия, что в те времена почиталось явлением весьма незаурядным и редким.

Как-то раз, во время большой перемены, когда мы бегали и резвились в длинном школьном коридоре, один из товарищей шепнул мне:

— Смотри! Вот он!

С первого взгляда Сосо Джугашвили не привлекал к себе внимания ничем особенным: обычные резвые детские глаза, помятая, хоть и чистенькая, блуза из простой бумазеи, брюки, заправленные в голенища, фуражка. Блуза туго стягивалась в талии широким поясом. Густые волосы прядью опускались на лоб...

Часто, когда он, обнявшись с товарищами, гулял по коридору, я незаметно следовал за ним на некотором расстоянии и все приглядывался к нему.

Однажды, заметив мои пристальные взгляды, он неожиданно подошел ко мне, взял меня за руку, ласково обнял и, улыбнувшись, спросил: «Как твоя фа-

милия?» Я ответил ему. «Молодец, молодец», — сказал он.

В моей памяти навсегда запечатлелись его глубоко сидящие глаза, его пленительная улыбка. Мне хотелось все время быть около него, так он просто, по-товарищески, подошел ко мне.

Во время большой перемены в школьном дворе обычно затевалась игра в «пояса». Все делились на две партии. Каждую из них возглавлял наиболее лучший, наиболее ловкий игрок. Одним из таких незаменимых игроков был Сосо Джугашвили.

Мы, почти все, старались попасть в его группу. Окружив его, каждый из нас упрашивал:

— Сосо, генацвале, я буду с тобой! Сосо-джан, дорогой!..

— Первый отбираю я,—раздавался голос.

— Нет, я!

— Ты ко мне идешь!

— А он ко мне!

И мы разбивались на группы, каждый шел в ту, в которую его посылали. Тот из нас, кто попадал в группу Сосо, прыгал от радости; а он, похлопывая нас по плечу, подзадаривал играть как следует. И мы старались во-всю, так что никто не мог против нас устоять.

Победа неизменно была на нашей стороне.

Игру Сосо Джугашвили вел по-своему. Каждому из своих игроков он говорил, как нужно играть, указывал, кому какое занять место, слабых распределял среди сильных, и так, правильно всех расставив, стремительно нападал на противника.

В игре он был очень ловок, и не было такого, кто мог бы вырвать у него пояс. Ни в чем никому он не уступал первенства, любого слабого игрока из своей группы так воодушевлял, что тот играл, не щадя сил.

Ловко бегая по кругу, устремляясь то к одному, то к другому из стоявших на защите поясов, Сосо тем самым ослаблял их настороженность и, пользуясь удобным моментом, выхватывал у зазевавшегося

пояс. Затем, размахивая им в воздухе, обегал стоявших по кругу и хлопал их поясом по ногам до тех пор, пока следующий пояс не попадал в его руки.

Во время игры все взоры были устремлены на Сосо. Увлеченные его ловкостью, все аплодировали ему, подпрытивали, кричали:

— Молодец, Сосо, молодец! Так его, так!..

После окончания игры все окружали Сосо и прислушивались к его звонкому голосу. Голос у него был настолько приятный и привлекательный, что даже преподаватели, собравшись у окон, слушали его с наслаждением.

Потом мы пели, танцовали «лекури».

«Цангала гогона да»... — начинал Сосо.

«Ой-да гогона»», — отвечали остальные и пускались в пляс.

Посреди круга кто-нибудь отплясывал на носках, а голос Сосо все звенел в воздухе и сливался с шумом Лиахвы, протекавшей тут же, за оградой...

Сосо учился прекрасно. Из класса в класс он переходил первым учеником. Одновременно он учил и других. Все соседи знали о его способностях и о том, как любили его преподаватели. Поэтому, если кому-либо из ребят трудно давалось учение, то родители их приходили к Сосо и просили его подзаняться с ними.

И Сосо с редким усердием и упорством помогал отстававшим детям готовить уроки, усваивать те или иные предметы.

— Ну-ка, пусть только попробует теперь Лавров поставить тебе двойку! — говорил он ученику. — Если только он поставит тебе неудовлетворительную отметку, сейчас же скажи мне.

Ободренный малыш убегал домой и через некоторое время действительно исправлял свои отметки.

Помимо учебников, Сосо читал много других книг. Еще в первом классе духовной школы он перечитал целый ряд произведений грузинской художественной литературы. Особенно увлекался он повестями о

сказочных приключениях Карамана и других народных героев.

Из беллетристов в те годы ему более всех нравился Казбеги. Если ему удавалось достать какую-либо новую книгу, он с жаром хватал ее и бежал домой, чтобы скорее прочитать. Впечатлениями о новой книге он всегда делился с товарищами, всегда советовал и им прочесть ту или иную интересную книгу.

У него были любимые товарищи. Но и с нами, учениками младших классов, он держал себя как с равными. Иной раз возьмет тебя за руку, перекинет ее через свое плечо и делает вид, что хочет помериться с тобой силами.

— Смотри, какой сильный, чертенок, еще, чего доброго, поборешь меня, — приговаривает, шутя.

В те времена город Гори делился на две части— верхнюю и нижнюю. Домик Сосо находился в верхней, так называемой, русской части города.

Мать Сосо, Екатерина, гордилась умом и способностями своего сына. Она делала для него все, что могла, не щадила ни сил своих, ни здоровья.

Ее мечтой было, чтобы Сосо стал учителем и чтобы они из своей полутемной сакли перебрались когда-нибудь в просторные, светлые комнаты.

В Гори в то время проживали трое грузинских писателей: С. Мгалоблишвили, Н. Ломоури и Мелания (Натадзе) — автор «Бнело». Все они разделяли идеи тогдашнего народнического движения и тайно распространяли по селам Карталинии нелегальную литературу.

У них часто бывал Сосо.

ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫК

На большой перемене в школьном дворе мы развлекались разными играми.

В одном углу двора играли в «црелахти», в другом — в мяч, дальше — в «чехарду», в «классы».

Кто-то куда-то бежит, кто-то кого-то догоняет, потом поворачивает назад с криками «циацо». Шум

и там заглушаются в конце концов звонком. Игры прекращаются и все направляются в классы.

Подталкивая друг друга, вскакивая на спины, угощая пинками, подставляя «подножки», бежим мы по длинному коридору и так вваливаемся в классы. Веселые, разрумянившиеся лица моментально становятся серьезными, сосредоточенными. Споры и разговоры утихают.

Во дворе, во время игр, мы говорили по-грузински, но в классе можно было говорить только по-русски. Уже с третьего отделения все ученики обязаны были выражать свои мысли, задавать вопросы и отвечать только на русском языке. А чтобы с языка невзначай не сорвалось грузинское слово, все предпочитали сидеть молча. Русским языком мы все пока еще владели не в достаточной степени, а потому на уроках об'яснялись друг с другом мимикой.

Для наблюдения за порядком один из учеников держал в руках деревянную дощечку. Слух его был навострен, чтобы не пропустить грузинского слова. Если он улавливал грузинское слово, то моментально вручал произнесшему его деревянную дощечку. Каждый старался, чтобы эта дощечка не осталась у него к концу урока. Тот, кто оставался с дощечкой, лишался обеда — в наказание он задерживался в школе после окончания занятий на два часа.

Грузинский язык был у нас под запретом. Все предметы преподавались на русском языке, изучению же грузинского языка уделялось очень мало внимания. Школу оканчивали, пройдя только «Деда-эна» и «Бунебис-кари» Гогебашвили. Проходили также часослов и псалмы Давида.

Читать грузинские книжки запрещалось, поэтому в школьной библиотеке можно было достать на грузинском языке только евангелие и катехизис.

Учитель русского языка Лавров был типичный великодержавник. В скобку подстриженные каштановые волосы, блестящие очки. Всегда в чиновничьей форме: фуражка с кокардой, блестящие пуговицы... От нас он требовал, чтобы мы произносили русские слова

с абсолютной точностью, и об'яснял, что хотя пишется «дежурный», но произносить следует «дежурнай», пишется «ласковый», а говорить нужно «ласковай», и тому подобное.

За это мы его прозвали «ай».

Он старался сокращать наши фамилии и давать им окончания «ов». Так, вместо Хуцишвили, получался Хуциев, вместо Елисабедашвили—Елисабедов.

При прохождении какого-нибудь стихотворения он говорил:

— А ну, в вашей литературе имеется что-либо подобное?

Мы не знали — имеется или нет.

Или, например, спрашивал:

— Есть какой-либо другой язык, который может по красоте сравниться с русским?

Мы не знали и этого...

Он любил ходить в церковь. И когда священник поминал царствующий дом, опускался на колени и в таком положении прослушивал молитву, клал земные поклоны, тыкаясь лбом в холодные каменные плиты. Его длинные волосы опускались на лицо, путались в очках, а он продолжал креститься.

Служба в церкви всегда проводилась на русском языке. Хор пел только русские церковные песнопения, и лишь изредка раздавалось по-грузински «господи помилуй».

ЗАПРЕЩЕННАЯ РОДИНА

Шовинизм Лаврова, преследование им родного нашего языка, пренебрежительное отношение к прошлому Грузии и неуважение к ее настоящему только усиливало нашу любовь к родине, желание познать ее историю.

И постепенно мы узнавали, что и у нас тоже имелись хорошие поэты, что прекрасна была наша родина, что мы вправе гордиться ее славным героическим прошлым.

Мы учили наизусть грузинские стихи, громко повторяя слова из стихотворения Рафаэла Эристави «Родина хевсура»:

«Я родину свою не променяю
На рай чужой страны...»

На географических картах мы искали грузинские названия наших рек, городов и сел, и, не находя их, испытывали чувство понятной горечи, уязвленного самолюбия.

В учебниках географии мы, грузины, почему-то назывались «туземцами». Встречая в книгах это слово, мы замазывали его чернилами, а страницу загибали, чтобы больше не читать ее.

Хорошая карта Грузии была приложена к грузинскому учебнику Гогебашвили «Бунебис-кари». И мы с радостью и удовлетворением разглядывали ее, отыскивая знакомые названия родной страны.

Нам хотелось, чтобы такая карта висела у нас в классах среди других учебных карт.

Как-то кто-то из нас отыскал в книжном магазине Арсена Каландадзе довольно большую карту Грузии. Мы решили купить ее, вставить в соответствующую раму и повесить в классе, на зло Лаврову.

Так и сделали.

Среди ребят карта эта вызвала большую радость. Мы долго не могли оторваться от нее, каждый разглядывал ее с восхищением.

Когда, войдя в класс, эту карту увидел Лавров, он с негодованием плюнул на нее и прошел мимо.

Мы побледнели, в висках застучало. На мгновенье воцарилась тишина. И вдруг раздался звук пощечины. Мы вздрогнули... Это один из учеников ударил Лаврова... Очки слетели с его носа... Схватив классный журнал, Лавров выскочил из класса.

Конечно, карта была снята со стены, а провинившийся ученик уволен из школы.

Из иностранных языков в то время в нашей школе преподавался греческий. В этот мертвый язык не мог вдохнуть живую душу даже учитель Абесалашвили, переведенный в нашу школу из Озургети.

Ученикам свойственно поднимать на-смех некоторых преподавателей. На первом же уроке, когда вызванный к доске ученик должен был стереть тряпкой написанное, у Абесалашвили сорвалось:

— Смарай!

Мы все фыркнули.

Ученик стоял разинув рот, не понимая, что значит «смарай».

Абесалашвили вспылил, не зная, на кого накинуться: на нас ли, за наш смех, или на стоящего у доски ученика, которому мы кричали: «Смарай, смарай!»

После этого мы прозвали Абесалашвили «Смараем». Во время его уроков каждый был занят своим делом: кто вытачивал себе волчок, кто возился с кочами, кто читал постороннюю книжку. Его же никто не слушал.

Входя в класс, Абесалашвили клал на стол открытый журнал, а затем расхаживал во время урока между партами. Этим воспользовался однажды один из учеников. Поймав стрекозу, он оторвал у нее крылья, привязал ей кусочек ваты, обмоченной в чернила, и незаметно посадил ее на открытый журнал.

Стрекоза поползла по журналу, насаживая черные кляксы на наши фамилии и размазывая весь лист чернилами.

Мы втихомолку посмеивались. Все наше внимание было приковано в этот момент к столу. Строго внушая одному из отвечавших, что «это не прошедшее время, а аориат», Абесалашвили направился к журналу, чтобы выставить ученику отметку и... ахнул.

Однако он ничего не сказал. Осторожно сбросил стрекозу, позвал смотрителя и вышел из класса с раскрытым журналом.

В тот день весь наш класс остался без обеда и всем нам был снижен балл за поведение.

Очень странный человек был преподаватель арифметики и географии Илуридзе. Стоило только при ответе ему допустить малейшую ошибку, как он возмущенно начинал кричать: «Ах, ты, несчастный!» гнал от доски и проставлял в журнале единицу.

Потом вызывал другого и через несколько минут уже кричал и на него: «Что это за сапоги ты надел? Маркитант несчастный!..» От злости глаза его наливались кровью, нос передергивался. Затем вызывал следующего, снова орал и выводил в журнале единицу за единицей. Так к окончанию урока единиц набиралось штук до пятнадцати.

Но вот раздавался звонок. И тогда мы мчались к столу и начинали умолять:

— Учитель, учитель! Дорогой учитель! Не ставьте нам единицы!..

И Илуридзе «входил» в наше положение. Раскрывал журнал и, отыскивая фамилии пострадавших, переправлял единицы на четверки. При этом он улыбался и продолжал повторять свое любимое слово «несчастный!» Так мы его и прозвали «Несчастный».

Мы знали, что Илуридзе любит выпить. По утрам он обязательно заходил в духан, глотал две-три рюмки водки и уже после этого, с раскрасневшимся носом, появлялся в школе. Его небритые щеки были покрыты синекрасными жилками, глаза выглядели печально, полные какой-то глубокой тоски. Быть может, его удручала так глубоко провинциальная жизнь заброшенного Гори, тяжелая доля учителя? Не знаю... Но одно могу сказать с достоверностью: он очень любил посещать почти единственное развлечение Гори — «криви», кулачные бои.

Обычно он появлялся у места боя задолго до его начала, а в самый разгар боя пробирался в круг, засовывал в рот крученку, густо дымил ею и не отрывал глаз от бойцов.

Если среди участников боя он замечал кого-нибудь из своих учеников, то всячески их подбадривал:

— Так его, так! Молодчина!..

Нередко кулаки противников случайно обрушива-

лись и на его спину, но это его не смущало, и он не трогался с места.

Инспектор Бутырский — низенький, коренастый, с порыжевшими от табака усами. На бледном лице торчал крохотный нос. Серые глаза всегда выглядели злобно.

Во время обедни от него не было покоя. Он беспрестанно шнырял мимо наших рядов, и если кто-нибудь из учеников стоял не по правилам, то так щипал, что от боли глаза наливались слезами. Он явно ненавидел грузин и все грузинское.

Если его острый слух случайно улавливал в школе грузинскую речь, он моментально ее пресекал. «Не смейте говорить на этом языке!» — вопил он. И он с такой ненавистью произносил эти слова, что они звучали хуже всякой брани.

В перерывы между уроками он неустанно рыскал по коридору и не разрешал нам никаких игр. Его пожелтевшие пальцы вечно теребили подбородок. Он грозно смотрел исподлобья и никогда на его лице нельзя было заметить даже тени улыбки.

Впоследствии он постригся в монахи и сделал карьеру на своем ненавистническом отношении к грузинам...

Был у нас один симпатичный учитель, он преподавал пение, — Симон Гогличидзе. Горийцы очень его любили. Он был интересен, всегда жизнерадостен, весел. У него были русые усы и небольшая бородка, а над высоким лбом курчавилась густая прядь волос. Одевался он опрятно и всегда по моде.

Он преподавал пение в нашей школе и в женской прогимназии. Там девочки даже сложили про него хорошую песенку.

ЭКЗАМЕНЫ

Красива и благоуханна горийская весна. Зацветают сады и виноградники. Рассыпает первое серебро своих лепестков алыча. Точно свечки, вспыхивают

бурным цветеньем персиковые деревья, через заборы перекидывают свои пышные ветви ароматные «пшати»[1].

Воздух наполняется жужжанием пчел и щебетом птиц. Одевается в зелень Гориджвари, пестрым ситцевым ковром расстилаются луга в долинах.

Окна домов открываются, и весенний воздух зовет на простор.

В это время заканчивался учебный год. В классах затихал шум. Начиналась экзаменационная пора.

Выбравшись из школы, мы уходили за город и, раскрыв где-нибудь на пышном ковре зеленого луга изрядно надоевшие за год греческую хрестоматию и арифметический задачник, принимались за зубрежку.

К экзаменам мы готовились группами. На траве — раскрытая греческая хрестоматия. Зажмурив глаза, мы зубрили: «Базилев урание параклите... Базилев урание параклите... О энтис уранис...» Если случалась запинка, открывали глаза, заглядывали в книжку, затем снова, зажмурившись, продолжали: «Базилев урание параклите...»

А вокруг так тепло, так приветливо...

Мы сидим на берегу Куры. Старая, вековая плакучая ива, так напоминающая женщину с распущенными волосами, никнет опущенными ветвями к убегающим волнам реки. Она словно хочет их задержать, не пустить дальше. Но волны не послушны ей, они ускользают из-под ее ветвей, спешат все дальше и дальше, игриво сверкая в солнечных лучах.

Сегодня мы любовались природой, а на следующий день, стоя перед покрытым красным сукном столом, едва сдерживая сердцебиение, сдавали экзамен. Этот день был торжественный для нас. Нервничая, волнуясь мы переживали его.

Учителя приходили на экзамены, строго затянутые в новые сюртуки.

Три ворона садились за стол, раскладывали билеты и начинали вызывать нас по алфавиту.

---

[1] Фруктовое дерево.

Мы были одеты в белые парусиновые блузы. За пазуху клали камешки, вселяя в себя уверенность, что это делает более крепкими наши сердца и бодрит нас во время спросов. Однажды, перед выходом к экзаменационному столу, один из учеников снял с себя пояс, чтобы оправить блузу, позабыв о камешках, упрятанных за пазухой. Тщательно подобранные на берегу Лиахвы, камешки с шумом рассыпались по полу... Растерявшийся ученик топтался на месте, не зная, что ему делать: собирать ли камешки, или итти к столу?

А учителя покатывались со смеху...

На экзамен по греческому языку мы шли не волнуясь. Перевод текста мы писали мелкими, едва заметными буквами на последних страницах книги. Вытянув билет и сообщив его номер товарищам, мы направлялись к парте якобы для того, чтобы взять забытый учебник. Возвращались же с книгой, открытой на той странице, где имелся требуемый подстрочный перевод.

Один отвечал, а другой готовился к ответу. Подсказывали друг другу, помогали — и так сдавали экзамены...

После экзаменов направлялись к полотну железной дороги и особенно надоевшую книгу клали на рельсы. Затем с удовлетворением любовались, как ее мяли колеса вагонов, вихрем увлекая за собой растерзанные страницы.

ВЕНЧАНИЕ

Вечером, когда солнце уходило за далекие горы, закрывался базар.

Торопясь домой, торговцы быстро убирали чашки с фруктами, прятали рыбу. Портные заносили в помещения свои столики. Узкая, как жолоб, базарная улица погружалась во тьму, напоминая собою тоннель.

Затихала жизнь и на больших улицах. На покрившихся столбах начинали тускло мерцать керосиновые

фонари, но в их неверном свете редко мелькала тень прохожего.

Длинные зимние ночи укорачивали дни. Жители забивались каждый в свой угол.

В восемь часов звуки вечерней зори, доносившиеся из казарм, уныло врывались в тишину зимнего вечера. Они уносились далеко-далеко, затем возвращались назад, словно кого-то искали, кого-то звали, задерживались в воздухе и опять куда-то убегали.

В эти минуты настроившийся ко сну город весь превращался в слух. И когда звуки зори умолкали, сейчас же запирались на засовы ворота, в домах гасли огни.

Пори потружался в сон... Только порой в каком-нибудь квартале шум все еще не смолкал и свет в окнах не гасился. Обитатели этого района спешили к ограде маленькой Оконской церкви.

По пути одна из девушек обычно забегала к подруге-соседке и по секрету сообщала:

— Сегодня ночью Лиза Туриашвили выходит замуж. Разве ты не знаешь?

— Да, что ты! А где же венчаются?

— В Оконе. В десять часов. Пойдешь?

— Конечно!

Несмотря на поздний час, назначаемый предусмотрительно для того, чтобы в церковь собралось поменьше глазеющих, народу собиралось все же много. Подобный, не часто повторяющийся случай развлечения никто не хотел упустить.

Церковь, бывало, еще закрыта, а зеваки уже толпятся в ограде, сидят на могильных камнях: девушки — в одном месте, парни — в другом. Развлекаются болтовней, всякими рассказами, сплетнями...

Народу собиралось столько, что тесно становилось в церковном дворике.

К десяти часам собравшиеся устремлялись к церкви. Девушки и парни смешивались, все теснились вперед, хотя железные двери церкви были еще на засове с огромным замком.

Но вот показывался староста. Сутолока увеличивалась. Сквозь стену людей староста с трудом протискивался к церкви, снимал с дверей замок и, подталкиваемый толпой, проникал в темную церковь.

Толпа у порога, как вода у плотины. Прорвавшись в помещение, она рассыпалась по церкви, словно струя, разбитая мельничным колесом.

От присутствия множества людей воздух в церкви постепенно согревался. Староста зажигал на подсвечниках копеечные восковые свечки. Отступали черные бурки теней, иконостас поблескивал золотом икон, светлели мрачные лица святых.

Мерцая, свечи бросали бледный свет то на стену, то на аналой. Зеваки жались друг к другу, оставляя, однако, свободное место посередине церкви. Перед аналоем староста расстилал небольшой коврик.

Парни с шумом поднимались на хоры, пересмеивались оттуда с девушками, шумели, перекликались, вели себя так, словно собрались на цирковое представление.

Вскоре появлялся священник с дьячком. Дьячок оставался в церкви, священник направлялся в алтарь.

Наконец в церковь входили невеста и жених с друзьями и подружками.

Все старались протиснуться вперед, чтобы лучше рассмотреть молодых. Поднимались на цыпочки, вытягивали шеи... В церкви становилось шумно.

Священник открывал царские врата. В шитой золотом ризе, надувшись, как индюк, он выходил на середину церкви, клал на аналой евангелие и крест и обращался с какими-то вопросами к жениху и невесте. Затем возвращался к «царским вратам», воздевал руки и гнусавым голосом возглашал: «Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков!»

Дьячок кудахтал: «Аминь».

— Жених-то, красивый!

— А ты не знаешь его?

— Как идет к нему черкеска!

— А невеста, невеста!.. Только бледная очень...— перешептывались девушки.

Староста в это время суетился в алтаре. Раздувал кадило, готовил свечи. Церковь постепенно заливалась светом, и становилось уже совсем жарко.

В мерцании свечей торжественно выглядели парни с цветами, девицы в белых платьях. Шафера, поднявшись на цыпочки, держали над головами венчающихся венцы. Но шум и возня забравшихся на хоры ребят не стихали, и это снижало торжественность момента.

Соединив в своей руке руки жениха и невесты, священник обводил их вокруг аналоя с пением «Исайя, ликуй». Священнику подпевал дьячок.

В конце концов, церемония венчания как будто завладевала и вниманием ребят, пристроившихся на хорах.

Следуя торопливо с венцами в руках за женихом и невестой, шафера предусмотрительно перескакивали через шлейф невесты, чтобы не наступить на него. Парни на хорах не выдерживали. Они что-то кричали шаферам, хохотали, полным голосом выражали свои впечатления.

Священник направлялся в алтарь и выносил оттуда серебряную чашу с красным вином.

Наверху раздавалось выжидательное покашливание. Все как-то мялись. Невеста еще ниже склоняла голову, бледнела, застывала взором на обвитой цветами свече. Жених — посмелей, но румянец смущения покрывал и его лицо... На мгновенье воцарялась тишина... Что-то пробормотав, священник с чашей в руках оборачивался к жениху. Еще что-то пробормотав, он подносил чашу к его губам.

Как гром в лесу, раздавался хохот мальчишек: «Выпил, выпил!»

Выкрик их эхом перекатывался по церкви, внося веселое оживление в толпу... Никто уже не слушал ни напевов дьячка, ни протяжных возгласов священника.

Шум стихал только после того, как священник трижды давал глотнуть вино жениху и невесте.

Наступала тишина, словно после пронесшейся бури...

Толпа успокаивалась, будто она сделала свое дело... Затем все срывались с мест и с шумом расходились по домам.

В церкви оставались только шафера и близкие молодых.

Венчание окончено.

Улица затихала.

ОБЫВАТЕЛИ

Каждая часть города живет собственной жизнью, имеет свой специфический отпечаток, своеобразные традиции.

Гори в те годы делился на две части: верхнюю и нижнюю; каждая из них жила своей жизнью. Кварталы носили свои, характеризующие их названия: крепостной, гареубанский и т. д.

Вокруг города был расположен целый ряд деревень. Число жителей Гори тогда не превышало десяти тысяч. Его улицы наполнялись шумом, вырывавшимся из четырех школ, из коих одна была — учительская семинария, остальные три — женская прогимназия, духовное и городское училища.

Мелкие торговые лавки — мануфактурные, фруктовые, железо-скобяные, рыбные и мясные, крытые дранью, с низкими потолками, тянулись в ряд, одна за другой.

По разным улицам были рассеяны чувячные, портняжные и кузнечные мастерские.

На окраинах лениво дымили два-три кирпичных заводика.

В верхней части города жили чувячники, рыбаки, дрогали, лавочники. В нижней — педагоги, служащие судебных и других учреждений, мелкие собственники, торговцы, учащиеся...

Железнодорожная станция находилась на почтительном расстоянии от города и потому ее существование не сказывалось на общем дыхании горийской жизни. Осенью товарная платформа станции была

обычно завалена горами капусты, лука, корзинами с персиками, яблоками и другими фруктами.

Шумливая Кура, приняв в себя Лиахву и минуя затем мост, стремительно уходила вниз, как бы не желая больше оставаться в Гори. Плоты ускоряли здесь вместе с волнами свой бег и устремлялись в сторону Тбилиси. Они не задерживались в Гори, не оставляли здесь даже незначительного количества леса, потому что в городе не велось никакого строительства.

«Когда царский поезд следовал через Гори, — вспоминали горийцы, — прислуга, не заметив города, выбросила здесь сор. После этого город совсем перестал расти».

С железнодорожной станции, перейдя мост, путник попадал на площадь. Отсюда к городу шла единственная широкая, прямая улица, которую горийцы называли «Царской». Остальные улицы, узкие и кривые, огибали Окону. Одна из них вела к базару, другая к крепости.

Только одна площадь украшала Гори, да и та принадлежала казармам. Здесь мы часто заводили свои игры. Здесь же с утра до вечера паслось стадо.

Одно время мы очень увлекались метанием стрел. Вообразив себя индейцами, мы затыкали за пояс стрелы, в шапки втыкали гусиные перья, засучивали рукава и «выходили на охоту». К концу стрелы прилаживался заостренный гвоздь.

Вечером, когда стадо направлялось с площади по узким улицам домой, мы, вооружившись луками, устраивали засаду, где-нибудь в воротах, и пускали стрелы в коров, целясь им в лоб. Стрелы впивались животным в шеи, и они, мыча от ужаса, сломя голову, мчались по улицам.

Выбегали хозяева, освобождали от стрел коров и, громко ругаясь, искали виновных. Но, конечно, нас не так-то легко было найти. Откуда-нибудь издали мы наслаждались результатами своей «охоты».

ХОЗЯЙКА-ПОПАДЬЯ

Семья нашей хозяйки состояла из двух душ: вдовы-попадьи и ее дочери.

В семье попадьи я прожил несколько лет, так как она брала с нас недорого, всего по семи рублей в месяц с человека. Жили у нее преимущественно дети причетников. Хозяйку свою мы звали попадьей, хотя ее муж не был священником.

Длинное черное платье попадьи всегда волочилось по полу. Это была худая, высокого роста, женщина с морщинистым лицом, лет шестидесяти. На голове она носила темное «чихта-копи», подернутое легкой лечаки... Строгий лоб, тонкий нос, короткий подбородок...

Ее дочь мы звали Тота. В то время я еще не знал, что слово «тота» происходит от слова «тетя». Мать баловала свою дочь, девицу гордую и в некоторой степени ученую. Лицо у Тоты было белое, волосы русые, щеки пухлые, глаза синие. Ей доставляло удовольствие мучить нас, учеников. Книги она читала грузинские.

Как-то раз она со своей подругой всю ночь читала вслух взятую у кого-то повесть Казбеги «Элгуджа». Слушая это чтение, я тоже не спал в ту ночь. Лежал, затаив дыхание, прислушивался, а на утро восторженно рассказывал об «Элгудже» своим школьным товарищам.

Попадья и Тота жили нахлебниками. В двух их комнатах нас, жильцов, насчитывалось тринадцать человек.

Поддерживая дисциплину среди проживавших у нее ребят, попадья запрещала нам отлучаться куда-либо после занятий, даже выбегать во двор. Возвращаясь из школы, мы садились на длинную тахту и так и не вставали с нее в продолжение целого дня.

Перед длинной тахтой стоял такой же длинный стол с ящиками, в которых мы держали наши книги. За столом сидела Тота и следила за нами. Некоторые из нас, дети бедных причетников, платили хозяйке по

пять рублей в месяц, но за это работали дома: подметали комнату, два раза в день ставили самовар, таскали воду из колодца, мыли посуду, подымаясь рано утром, кормили кур.

Ребята, выполнявшие такие обязанности по дому, могли расхаживать свободно, и мы завидовали им, в особенности потому, что они могли, когда хотели, пить воду. Дело в том, что попадья, неизвестно, по каким соображениям, лишала нас возможности удовлетворять эту существенную потребность. Очевидно, делалось это просто ради экономии воды, которую нужно было таскать из колодца, попадье же не хотелось давать соседям повод к разговорам, что этим делом она утруждает своих нахлебников.

Часто жажда доходила до того, что для утоления ее мы вынуждены были собирать в ладонь дождевую воду, стекавшую с крыши.

Экономила попадья и на хлебе. Муку она покупала на базаре, а хлеб пекла в торне, платя за каждую выпечку по два хлеба натурой и двадцать копеек деньгами. Этого хлеба нам, нахлебникам, хватало на две недели. За такой срок хлеб черствел и часто становился добычей мышей.

Брать хлеб с собою в школу мы не имели права. Если кто-нибудь из нас просил хлеба, то об этом становилось известно хозяйке, и когда виновный возвращался домой, его в дверях встречала Тота, ставила тут же на колени, заставляя поднять руки наверх, и оставляла без обеда.

Наших отцов, приезжавших в город, она умела очаровывать красным словцом, и те были довольны, что их дети находятся под присмотром, ведут себя хорошо, успевают в занятиях...

После рождественских и пасхальных каникул нас обычно сопровождали до города родители, нагруженные хурджинами со всякой снедью. Расплываясь в улыбке, попадья открывала хурджины и вытаскивала оттуда жирных отваренных кур, окорока, хача-

пури[1], назуки[2], яйца, хорошо выпеченный белый хлеб, и раскладывала все это на столе. Еды набиралось столько, что попадья недели на две обеспечивалась и хлебом и мясом, и могла в эти дни ничего не покупать на базаре.

За столом на тахте мы сидели, поджав под себя ноги. За этим столом мы обедали и затем высиживали весь день.

Комнаты с низкими потолками выходили окнами на улицу. Но мы сидели спиной к окнам и потому ничего не видели, что происходит на улице.

Одна из комнат служила спальней попадье и Тоте. Здесь же ночевали и некоторые из нас. В другой комнате спали все остальные... Дверь, соединявшая комнаты, оставлялась на ночь открытой, и, чтобы ученики, занимавшиеся в доме хозяйством, утром поднимались во-время, Тота клала возле себя длинную палку. Не вставая с постели, она этой палкой стягивала с мальчуганов одеяла, постукивала их палкой же по голове и таким образом подымала их на ноги. Ребята быстро одевались и расходились: один — за водой, другой—кормить кур, третий — ставить самовар.

Обеды готовила сама попадья. Варила она обычно несколько фунтов мяса или лобио. Когда же в городе хоронили какого-нибудь знатного купца и в связи с этим предстояли пышные поминки, наша хозяйка в этот день не готовила обеда ни для нас, ни для себя.

ТРИЗНА

В дни похорон не готовило дома обед все малоимущее население города.

— Сегодня будем поминать...

---

[1] Хачапури — пирог с сыром.
[2] Назуки — сладкое печенье.

— Умер купец Иосеба, царство ему небесное!..

— Царство небесное! — повторяли горожане, собираясь на похороны.

Не готовились в такие дни обеды и в тюрьме. Начальник тюрьмы знал, что арестантам пришлют что-нибудь, чтобы помянуть покойного, а потому в этот день он предпочитал проводить экономию, конечно, в пользу своего кармана. Устраивая тризну, никогда не забывали об арестованных, и поминальный обед в первую очередь посылался им.

Наша хозяйка тоже бывала очень довольна таким днем, и когда мы, тринадцать ее нахлебников, голодные возвращались из школы, она об'являла нам: «Сегодня пойдете на поминки».

И мы спешили «поминать».

— Лаваш не забудьте оттуда захватить! — кричала нам вслед хозяйка.

Мы входили во двор, обычно, двухэтажного дома с длинным балконом, выкрашенным забором и высокой крытой лестницей, возвышавшейся над вытоптанным двором.

Народ снует взад—вперед. Девушки стремглав мечутся туда-сюда по лестнице, женщины в темных платьях торопливо накрывают на балконе стол, стараясь заблаговременно приготовить все к поминальному обеду. Прислуживающие парни несут сложенные стопками тарелки, тащат свежевыпеченные хлеб и лаваши, бутылки, стаканы...

Во дворе появляются собирающиеся на поминки горожане. И сюда, во двор, несут доски для скамеек, табуретки, молотки, гвозди — и здесь тоже готовится стол.

В одном углу, под наскоро сооруженным навесом из драни, в больших котлах, стоящих на треножниках, варится «шилаплави»[1]. Низенький, толстый повар в белом фартуке, с друшлаком в руках, подходит то к одному, то к другому котлу. Здесь же чистят картофель, складывая его в корыта, нарезают

[1] Кушанье из риса и баранины.

лук, разбирают и моют зелень, готовят длинные блюда для балыка.

Вот уже видно, как по улице идут те, кто провожал покойника на кладбище. Медленным, рассчитанным шагом, перебирая пальцами четки и беседуя между собой, приближаются женщины в темных лечаках. За ними, несколько поодаль, мужчины в длинных чохах, папахах...

Появление их вызывает во дворе еще большее оживление. Бегут одни туда, другие сюда, сбивают с ног друг друга...

У ворот становились двое ребят. У одного из них в руках кувшин с водой и на плече полотенце, другой держал большую тарелку с лавашом, смоченным вином. Возвращающиеся с кладбища подходили к ним, мыли руки, вытирали их полотенцем и, отломив кусок смоченного в вине лаваша, с'едали его и тогда уже заходили во двор. Женщины поднимались по лестнице наверх, мужчины задерживались во дворе, рассаживались на длинных досчатых скамейках.

На протяжении всего длинного балкона развеваются лечаки. Все гуще и гуще заполняется людьми двор, где для гостей также расставлены столы. И когда на этих столах появлялись гоми, шилаплави, все спешили занять места.

Еще больше людей собиралось у ворот и на улице. Для них варился особый, дополнительный котел. Среди этих людей находились и мы. Каждый, подходя к котлу, получал кусок лаваша с шилаплави, с'едал его и запивал вином.

Чтобы забрать еще что-нибудь и домой, мы снова становились в очередь и, получив второй раз угощение, отправлялись во-свояси. Этим угощением мы питались на следующий день.

ПОМИНКИ

Еще охотнее ходили мы на повторные поминки. Наша хозяйка и в этот день не готовила обеда, наказывая нам нести еду с поминального обеда.

Весь Гори знал обычно заранее, что в такой-то день цех чувячников справляет поминки в ограде Троицкой церкви.

И мы отправлялись туда...

Входили в открытую калитку фруктового сада, тянувшегося вдоль узкой улицы. Воздух здесь был наполнен опьяняющим ароматом цветущих персиковых деревьев и яблонь. Легкий весенний ветерок нашептывал о прелестях весны.

Множество народа, собиравшегося в церковный сад, безжалостно топтало траву, бурно пробивавшуюся из-под сырой земли.

Стояли с мисками в руках, давили друг друга, толкали, протискивались вперед.

— Слушай, куда ты снова лезешь? Дай мне хоть раз получить.

— Я тоже в первый раз...

— Да чего вы грызетесь, — умиротворял их третий,— всем хватит, смотрите, какие огромные котлы!

Мне не видны были котлы, и чтобы разглядеть их, я тоже старался всеми силами протиснуться вперед.

Наконец, и я их вижу — два огромных черных котла. Словно башни, стоят они на высокой железной подставке и дышат густым паром.

Двое мужчин, с засученными рукавами, стоя на табуретках, опускали в котлы деревянные лопатки и накладывали плов в подставляемые миски.

Поодаль, в глубине сада, на зеленой траве, под цветущими деревьями расстилалась длинная скатерть, вокруг которой, поджав под себя ноги, рассаживались мужчины в чохах. Их обходил виночерпий и каждому наливал вино в подставляемый рог; за виночерпием шел парень, раздававший горячий шилаплави.

Толпа у котлов скандалила, спорила, шумела. Получивший лаваш, спешил за шилаплави; затем, проглотив предварительно чайный стакан вина, садился тут же на траву и с аппетитом уписывал еду.

На помятой траве всюду валялись белые обглоданные кости. Собаки жадно рвали доставшиеся им кишки и другие отбросы от бараньих туш и злобно рычали, когда кто-нибудь к ним подходил.

У плетня возились мясники. Они солили шкуры зарезанных животных, чистили вымазанными в крови руками бараньи головы и ножки, вырезали из ножек кочи и бросали их толпившимся здесь мальчуганам. Вырывая кочи друг у друга из рук, мальчуганы убегали.

Мы шныряли в толпе, встречались с товарищами, которые, как и мы, держали подмышкой завернутый в лаваш шилаплави, аппетитно жевали мясо, обгладывали кости.

— Я уже два раза получил и два стакана вина выпил, — хвастался один.

— А мне еще лаваш дали! — отвечал другой.

— А я две кочи получил!—добавлял третий.

Нас так все увлекало здесь, что совсем не хотелось уходить домой. Лаваш, горячий шилаплави, стакан вина — этого было вполне достаточно, чтобы привести нас в самое прекрасное настроение.

А все-таки нужно было возвращаться домой.

И вот, когда мы, уставшие, собирались в обратный путь, то выяснилось, что только двое из нас сберегли свою еду.

Шли домой и гадали, как-то нам достанется от хозяйки за наше позднее возвращение.

КАДИЛО

Хозяйка встречала нас свирепо. Тота тоже сердилась и грозила, что завтра, в троицын день, никого из нас не выпустит из дому.

В тот вечер мы должны были еще итти на богослужение в школьную церковь. По дороге мы спорили и обвиняли друг друга за позднее возвращение с поминок и сокрушались, что завтра не удастся побывать на празднике.

Звонил, вернее дребезжал, маленький колокол нашей церкви. В коридоре инспектор устраивал нам сначала перекличку, а затем выстраивал в ряд.

Церковь была просторная, светлая. Блестел позолоченный иконостас. Сверху смотрели на нас святые. Они как будто улыбались нам, а мы отвечали им смехом, ужимками.

На возвышении — клиросе — чинными рядами стояли певчие.

Раздвигался на две стороны розовый занавес царских врат и в дверях показывался священник, в облачении, бородатый, с белыми, как лунь, волосами, ниспадавшими на плечи. Наклонив голову, он осенял нас крестом, затем, обернувшись к иконостасу, высвобождал из-под ризы руки, крестился и визгливым голосом возглашал: «Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков». Певчие, переминаясь с ноги на ногу, теснились ближе друг к другу, и, подхватив взгляд регента, тянули: «А-а-минь!» И дальше неслось: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, алилуя, алилуя, алилуя...»

«Эх, а хорошо бы завтра отправиться на праздник на Гориджвари», — мечтал я, и душа моя наполнялась ненавистью к суровой Тоте. — «Вот помолюсь богу, чтоб он ее наказал как следует!.. А виноват во всем Гигла, сколько времени пришлось его разыскивать...»

Прислуживающий мальчуган подает священнику кадило. Священник в расшитой золотом ризе обходит позолоченный престол в алтаре. Вниз-вверх машет сначала здесь кадилом, затем, окутанный дымом, медленно продвигается к молящимся, останавливается и кадит перед иконами. Обдает ладанным дымом сначала христа, потом богородицу, апостола Павла, и дальше — всех святых, какие есть в церкви. Потом кадит и кланяется нам; мы крестимся и тоже отвечаем ему поклоном.

Вдруг я испытываю острую боль в руке, словно кожа горит. Быстро оборачиваюсь — и вижу инспектора Бутырского. Он смотрит на меня своими

уничтожающе-строгими серыми глазами. Оказывается, я стоял не по правилам — согнувши ногу, — за это он и ущипнул меня.

Я разглаживаю ущипленное место, стараясь унять боль, морщусь.

На клиросе поют уже «оспомилуй». Священник бормочет, вознося моление всевышнему о царском доме, молит богородицу о спасении христиан.

Мне надоело стоять, тянет выйти на воздух, на чистый весенний воздух, — да и пить хочется. Но, знаю, не разрешит проклятый Бутырский...

Вспоминаю, что в кармане у меня цветок с колючками. Вынимаю его, прикладываю к носу и растираю так, что теплая струйка крови стекает мне на ладонь. Неужто и теперь не выпустит?

Выпустил...

Выхожу на двор. Мою руки. Останавливаю кровь. Утоляю жажду.

Издали доносится шум Лиахвы. Я смотрю вдаль — на Гориджвари. Гордо высится крепость, поросшая зеленым кустарником. На западе красным заревом рдеет горизонт, будто лес там горит...

Но долго задерживаться во дворе нельзя. Я возвращаюсь в церковь.

Вечерня подходит к концу. Священник уже бормочет: «... помилует и спасет нас яко благ и человеколюбец».

Заключительное пение доносится с клироса.

Мы выходим из церкви. Коридор наполняется шумом. Быстро скатившись по лестнице, мы разбегаемся по домам.

«Завтра праздник в Гориджвари[1], все пойдут туда, а я буду сидеть в своей комнате», — с отчаянием думаю я об угрозе Тоты.

---

[1] Старинная грузинская церковь на Буретской горе против Гори.

НА ПРАЗДНИКЕ ГОРИДЖВРОБА

На другой день, после обедни, наши товарищи направлялись на Гориджвари. С завистью мы поглядывали на них из окон нашей комнаты.

Арбы, увешанные фонарями, разукрашенные зелеными ветвями и полевыми цветами, ползут по улицам, словно огромные живые кусты.

Минуя город, они взбираются по под'ему на Гориджвари. Молодежь — в новой, праздничной одежде. В покрытых коврами арбах сидят девушки, парни погоняют волов.

Горийцы спешат на праздник, чтобы поторговать: везут туда лимонад и дешевые конфеты, органы и круглые столы для лотереи.

Ученики нашей школы идут гурьбой, резвясь, припрыгивая. Перед нашими окнами они останавливаются, зовут нас на праздник, но хозяйка их прогоняет.

В комнате прохладно. А на дворе весеннее солнце нагревает белые стены домов, как торню.

Мы сидим на тахте и чувствуем себя арестованными. Скучно поглядываем на лежащие на столе раскрытые книги.

И зачем это нужно попадье проявлять даже в такие дни свою жестокость! Ведь моя жизнь и так не блещет удовольствиями, а эта женщина лишает меня и того немногого, что может порадовать мое сердце... Как бы хотелось мне быть таким же свободным и счастливым, как мои товарищи! «Эх, — вздыхал я, — хоть разок бы побывать на этом празднике!»

Вершина Гориджвари, напоминающая огромную сахарную голову, покрытая курчавыми кустами, омываемая у подножья Курой, в тот день как-то особенно блистала и сверкала...

Вспоминается мне, как проходил этот праздник в следующем году.

На гору поднималось множество богомольцев — торговцев, людей светских, духовного звания. Все шли в приподнятом настроении, радостные, чтобы по-

любоваться сверху Земокартльской равниной, долиной Лиахвы.

Быстрая, беспокойная Лиахва «бежит и ревет», как Терек. Едва миновав ледники, она стремительно, словно сказочный конь, несется к Горийской крепости и отсюда, пройдя высокие пороги, уставшая, уже спокойно и медленно подходит к бурлящей Куре, чтобы выдержать последнюю борьбу. Вздымающиеся острые волны набегают одна на другую, давят друг друга, смешиваются в этой схватке, и так... кончает свой путь Лиахва.

А вверху ликует Гориджвари.

Праздник ее приходится на начало весны.

Зеленеет щавель, цветет алыча...

Устремившаяся в небо крепость красуется в зелени деревьев, окруженная пестрым ковром цветов.

Собирающиеся в небольшой ограде богомольцы, опускаясь на колени и осеняя себя крестом, прикладываются к стенам храма. Затем входят в самый храм и здесь снова кладут земные поклоны, стукаются лбами о холодные плиты пола, целуют иконы.

Священник с кадилом в руках стоит перед богомольцами и лепечет какие-то непонятные слова. Причетник бормочет что-то по псалтырю. Дымит кадило, окутывая дымом молящихся.

На паперти толкотня, давка. Одни входят в церковь, другие выходят.

В одном из углов у иконостаса столпилась большая группа людей. Они о чем-то спорят, и каждый старается протиснуться вперед. Здесь, на высоком столике лежит похожий на яйцо желтый камень. Все тянутся к нему, горя нетерпением взять его в руки. И когда это удается, обводят им вокруг глаз, сначала вокруг правого, затем вокруг левого, по три раза.

Говорят, что после этого глаза видят лучше, что этот камень будто бы лечит зрение.

В ограде церкви горийские торговцы понастроили навесы для лавок, украсили их зелеными ветвями, травой, цветами. И в шапки заткнули полевые цветы.

Парни слоняются с зелеными ветками в руках, задевают девушек, забрасывают друг друга цветами, гогочут.

Это — праздник весны, или праздник святого Георгия Гориджварского.

— Лимонад! Лимонад холодный! — кричат торговцы и потряхивают зелеными ветками.

Парни откупоривают лимонад, наливают шипучую влагу в стаканы, потчуют девушек.

В одном из уголков церковного двора образовали круг. Слышатся звуки гармошки и дайры. Начинается пляска.

Поодаль заиграл орган. Горийские парни зарезали барана и жарят шашлыки. Запивают атенским вином. Останавливают проходящих. Угощают их.

Пирушки и веселье затягиваются до самого вечера.

КЕЕНОБА[1]

Однажды на масляницу я уехал на три дня домой в деревню. Обратно в Гори меня провожал отец. Земля, пригреваемая солнцем ранней весны, уже начинала высыхать, в полях вытаптывались тропинки. Над отогревшейся землей подымался пар.

В'ехав в город и очутившись на главной улице, мы заметили двигавшуюся навстречу нам пеструю толпу.

— Смотри, — сказал мне отец,—сегодня кееноба.

— Идем скорей, посмотрим, — обрадовался я и побежал.

Отец шел за мной, следя, чтобы я не потерялся в толпе.

Толпа медленным шагом движется посередине улицы. Гремит зурна. Шум, крики... Черкески, блузы — все смешались. Впереди бегут ребятишки и что-то с любопытством разглядывают.

---

[1] Масляничный карнавал.

Я тоже забежал вперед.

Два высоких верблюда размеренным шагом продвигаются вперед. Их длинные шеи с маленькими головами устремились куда-то кверху, словно там они кого-то ищут, не желая замечать идущих рядом людей.

На горбе одного верблюда по-мужски сидит некое существо с намазанным лицом, с впавшей грудью, очевидно долженствующее изображать женщину. Смущенно улыбаясь, существо исподлобья смотрит по сторонам. На голове у него платок, сдвинутый на самый лоб и завязанный у подбородка.

На другом верблюде сидит мужчина, одетый «по-карачогски». Он молодцевато озирается по сторонам и в такт покачивающемуся верблюду тоже клонится то вправо, то влево, то нагибается вперед, корчится, кривляется, подкручивает черные усы.

На голове у ряженых — свадебные венцы. Голова у мужчины покрыта чалмой, стан украшают шашка и кинжал.

«Жених» весел, смешит публику. Он то и дело обнимает «невесту», целует ее. «Невеста» жеманится, стыдливо опускает голову... Мальчишки хохочут и бегут за верблюдами...

Крики, свист, шум, звуки зурны — все это веселит и наполняет улицу праздничным оживлением. Зурначи в длиннополой одежде, с надутыми щеками и вытаращенными, как у лягушек, глазами, следуют за толпой.

Мужчины спешат на улицу, женщины и дети наблюдают за шествием из окон.

Двое мужчин в чохах обходят зрителей и, протягивая папахи, собирают деньги.

Иногда процессия останавливается. Тогда зурна начинает визжать еще громче, а какой-нибудь парень быстро описывает на улице круг. Верблюдов заставляют опускаться на колени и ссаживают с них «жениха» и «невесту».

Мальчуганы устремляются к «невесте», любопытствуя узнать — женщина это или мужчина. Но вот,

при спрыгивании с седла, у «невесты» обнаруживаются под юбкой сапоги и брюки. Все орут, прыгают, гогочут, выталкивают «жениха» и «невесту» в круг, на пляску.

Зурна играет лекури, и две пары ног в сапогах, одна под чохой, другая под юбкой, лихо ходят по кругу.

Затем «жениха» и «невесту» снова усаживают на верблюдов, и шумная толпа продолжает шествие по городу...

За день процессия обходила все улицы, а к вечеру спускалась на берег Лиахвы. Здесь «жених» и «невеста» снимали с себя маскарадный наряд и уже в своей обычной одежде принимали участие в пирушке, которая устраивалась на собранные с зрелища деньги.

Кееноба долгие годы пользовалась у горийцев большой популярностью. До конца прошлого столетия зрелище это организовывалось в Гори в двух местах — в верхнем районе и в нижнем. В продолжение дня эти две процессии не должны были встречаться, в противном случае между ними завязывался кулачный бой, «криви».

Мы, дети, всегда домогались того, чтобы два кееноба повстречались. А если в течение дня этого не случалось, то, все равно, мы знали, что вечером оно состоится, так сказать, в организованном порядке.

Криви продолжалось целую неделю, а вечером, в день кееноба, происходила последняя решительная схватка.

Мы с нетерпением ждали этого вечера.

КРИВИ

Западная стена крепости раскалена, как горня. Но лучи солнца подымаются все выше и выше. Скоро вся стена будет уже в тени. Солнце задержится только на вершине Гориджвари...

Улицы постепенно погружаются во мрак. Стены церквей и домов становятся похожи на заброшенные развалины...

Между «Собранием» и Оконой снуют мальчишки, останавливаются у закрытых лавок, кого-то поджидают, нервничают.

На закрытом базаре быстро запираются лавки. Приказчики сбегают по лестнице «Собрания» и, очутившись на улице, спешат к нижнему району — к месту сборища.

Народ все прибывает. Тут и фуражки с кокардами, и блузы, и пиджаки. Все занимают места вдоль тротуара.

На кровлях домов, на лестницах, на балконах стоят женщины и дети.

Шум нарастает. Мальчишки рвутся к середине улицы, взрослые устремляются за ними.

Два лагеря становятся друг против друга. Верхний и нижний районы сегодня в последний раз в этом году выходят на состязание. За победителем остается первенство города.

Расстояние между лагерями постепенно сокращается. Борцы сближаются. Взрослые подзадаривают ребят на бой.

И вот с верхнего района вдруг прорывается сквозь толпу парень в блузе без пояса. Его встречает такого же роста и возраста парень с нижнего района. Сначала они шлепают друг друга по лицу, затем пускают в ход кулаки. С обеих сторон на помощь начавшим бой ребятам вступают целые группы. Начинается групповой бой...

«Нажимай! Нажимай! Ближе подходи!..» «Вот так...» «Размахнись, дай кулаком в бок!..» — слышатся крики со всех сторон.

Постепенно мальчуганы выпадают из круга, и бой продолжают взрослые.

Наотмашь бьют кулаками. Сыпятся искры из глаз. Скрежещут зубами. Кровь сочится по щекам... Крики, брань...

А вокруг — сгрудившиеся зрители, наседающие

друг на друга ряды, вытянутые вперед головы... Возгласы: «Так ему! Так!.. Нажимай! Наседай!..»

Но вот в круг вливается новая группа бойцов — в помощь верхнему убани[1]. Нижнеубанцы не выдерживают натиска, отступают... Но поспевает подмога и нижнеубанцам, и, собравшись с силами, они снова пускают в ход кулаки, снова замыкается круг.

Учащенно бьются сердца тысячи людей. Каждый болезненно переживает за своих. Тянутся вперед, подымаются на цыпочки, подбадривают: «Так, так!.. Не давай спуску! Колошмать!..»

Теперь берут верх нижнеубанцы.

Толпа гудит...

Но на выручку верхнеубанцев подходят свежие силы. Снова разрывается и замыкается круг...

Усталые, окровавленные участники боя, — те, которые уже едва стоят на ногах, — протискиваются сквозь плотное кольцо зрителей и скрываются в ближайших дворах. Жадно глотают здесь воду, обмывают окровавленные физиономии, оправляют одежду, разыскивают шапки.

Могучим натиском верхние убанцы обращают, наконец, нижнеубанцев к отступлению. Прорвав круг, побежденные рассеиваются по улице. С кулаками, со свистом и криком, верхнеубанцы преследуют противника.

Толпа бежит за ними...

Но вот у Оконы путь победителям преграждают прославленные в кулачных боях Холера, два брата Гочи-бичи, Глатка и Лохоша. Подобрав полы своих чох, грозно засучив рукава, они вносят смятение в ряды победителей.

Снова завязывается бой. Снова раздаются звонкие пощечины, мелькают кулаки, воздух наполняется руганью, истошным гулом.

Верхние убанцы поворачивают вспять, бегут... Мальчишья свора старается не отстать от них...

Теперь уже нет сомнения, что победа останется

---

[1] Убани — участок, район.

за нижнеубанцами. Однако и на этот раз исход боя принимает неожиданный оборот.

Бег отступающих останавливает всем известный силач Ходели. Плечистый, грузный, как буйвол, стал он посреди улицы. Рядом с ним, с одной стороны — Эгнаташвили, с другой Атоцели...

«Хороший боец выходит в бой последним», — говорит поговорка..

Толпа застывает на месте.

Ноги у Ходели — как столбы, кулаки — точно тыквы. Никому не охота с ним тягаться! Никому не устоять перед ним... Огромный, тяжелый, он грузно ступает по улице. Никто не осмеливается остановить его.

Дойдя до Оконы, Ходели останавливается, ждет... Нижнеубанцы один за другим исчезают. Победа остается за верхнеубанцами...

Уже темнеет... Толпа шумной лавиной растекается по узким улицам. Крыши и лестницы пустеют.

В вечереющем городе становится тихо, как в пустыне.

На другой день мы продолжали кулачный бой в школе... Класс вступал в схватку с другим классом.

Как и в настоящем кулачном бою, первыми дрались малыши, им помогали сначала более взрослые ребята, а затем выступали четвероклассники, которые и решали исход боя.

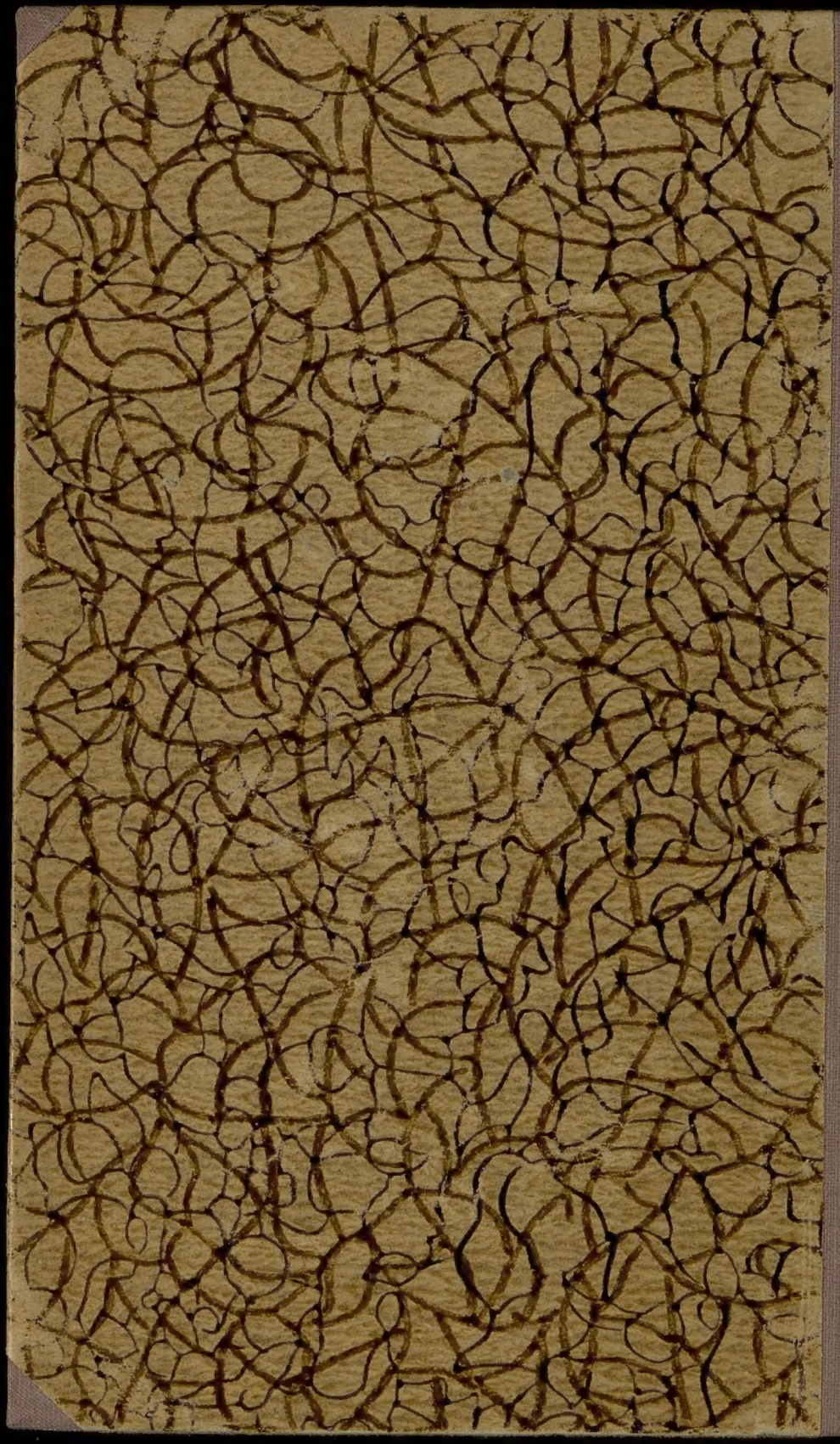
По окончании четырех классов мы прощались с горийской жизнью и уезжали в тбилисскую семинарию...

В невозвратное прошлое отходили кулачные бои, предавались забвению Ходели, Холера, Гочи-бичи...

Ученики старших классов семинарии втягивали нас в иную борьбу, в борьбу иных лагерей — народников и марксистов.

Долгие споры, чтение литературы, — все это обогащало нас здесь знаниями, формировало наше сознание для иной борьбы, к которой нас, молодежь, властно звала сама жизнь.

Редактор *І. Крейтан.*

Подписано к печати 23 июля 1942 г. Об'ем 3 печатных листа. В 1 печ. листе 33.476 типогр. знаков. Тираж 7.000. Заказ № 1777. УЭ8827.

Отпечатано в типогр. им. А. Ф. Мясникова издательства „Заря Востока" Тбилиси, проспект Руставели, № 36